

И ты начнешь колдовать

На конкурс «Проба пера-2006»



Том АМЕЛЬЧЕНКО

Студентка второго курса факультета лингвистики и перевода МаГУ. Самое большое творческое увлечение — фотография, есть уже опыт проведения в городе собственных выставок. Другим способом самовыражения Тома стала проза малых форм. Основной стимул для творчества — состояние неудовлетворенности, которое позволяет отвлечься от увеселений и побыть наедине со своей душой.

Смелость, упрямство и юношеский максимализм автора передаются героям произведений. «Мои рассказы никогда не станут бестселлерами, они для узкого круга людей, — говорит Тома Амелченко. — Они не событийны, но в каждом есть большой емкий образ, вокруг которого все и завязано».

Через фотографию и слово Тома обнажает слабые стороны людей, то, что обычно мы привыкли скрывать от себя и других. Но в рассказах автор всегда оставляет читателю возможность додумать.

Прекрасная дура

Какая прекрасная дура лезет на амбразуру, снимает амбарные замки предрассудкам вопреки, на серое отвечает красным, на боль реагирует улыбкой, тонет в обществе липком, разговаривает про себя, думает вслух — в общем дура.

А неоновые лампы высветят все твои грешки... рассыпчатые снежинки перхоти на плечах... свалившиеся катышки на голубой водолазке... непростираемые джинсы с разводами от дешевого порошка, а еще то, что никто не видит при свете дня: твою беленькую душу.

Твое большое странное лицо будет тихо всматриваться в мигающую темноту. На оправданной шетине остановится мой взгляд. Я буду бесконечно смотреть на твою огромную руку, забавно сжимающую малюсенький телефон. Смотреть, как по твоему правому запястью сползает замусоленная, как хиппи, фенка. Дрожу, когда вижу твоё громадное сутулое тело. Мне хочется ввязать тебе шерстяные носки с узорами и скандинавскими оленями и ставить горчичники. Ты спокойный и покладистый, как домашняя лапша. Ты черно-белая фотография с пригнущенным контровым светом и царапинками на матовой поверхности. Я вижу, как ты идешь под дождем, как хиппи, упрямый, рядом летают стервятники, а ты медленно улыбаешься, твои волосы вьются от влаги, в кроссовках хлопает вода, а тебе все равно, в кроссовках хлопает вода, а тебе все равно, в кроссовках хлопает вода... с шелухой от арахиса в карманах.

Вчера ты не заметил, как тебе со стены улыбнулась Одри Хепберн, а завтра забудешь почистить зубы, но сегодня ты будешь жить. И технично сражаться с ночью и сигаретным дымом. Меня, гигиеничную девочку, ты заставишь ходить в темные рычащие заведения, попросишь мои маечки пахнуть куревом. Показывай мне фокусы с перевернутыми бамбуковыми стопочками, так и быть, сделаю вид, что меня это удивляет. Волшебник. И даже если спички закончатся. Даже если пальцы обморозишь, если в ледяную пропасть упадешь, все равно не поверю, что это правда. Ты снежный человек, вечная легенда с сосулькой на носу, младенец с безразмерными глазами, который никогда не состарится. Этой ночью станешь метать устрашающе однообразные звуки в темноту, будешь главным хирургом с блестящим арсеналом скальпелей, привередливый. К тебе придет ассистент и скажет: сегодня рак позвоночника. А ты безразлично хмыкнешь. Потом придет рыдающая женщина и станет умолять выре-

зать ей аппендицит, ты же разведешь руками. Ночью привезут сердце, большое бордовое, оно развалилось на серебряном подносе и истекает перенасыщенностью заурядства и умирающим свободолобием. Всегда спокойные глаза загорятся, и ты начнешь колдовать. И оно забьется! Оно будет стучать так, что инструменты в стеклянных шкафчиках твоего кабинета запрыгают. А ты, измазанный кровью, скромно и безучастно пойдешь помыть руки и забудешь об операции.

В мою желтую ванную никто не зайдет и не получит по лбу обессиленной каплей конденсата. И как дешевенькое вино забродит в моей голове то свежее и сильное чувство, подаренное тобой зимним утром. И я налью себе соевый соус в глаза и сделаю вид, что плачу. Пройду мимо пельменей — их слобро горечью, мимо тебя... ты как раз в этот момент будешь выдыхать воздух и не почувствуешь моего присутствия. А я буду, как слепая оптическая мышь, ползать и искать твои сутулые мучные очертания. А прикосновение — уже роскошь. И твоё зачем — лишнее. У тебя его нет. Ты скуден на вопросы. А без вопросов нет матросов. Нет алых парусов. Нет чуда. Есть фильмы. И моя вера в них. И твоя пухлая циничность и загадка. Я полюблю тебя до сих...

Пить заварку не так уж противно, если мысли о другом... И если кричать в вентиляцию, со-

тряса столотиты пыли, то никто не услышит. А можно ли выбрать второе, когда есть только один выход? Побегать не к двери. А воткнуть вилку в пробковую стену и ковырять тухлый пенопласт, пока не увидишь неоновое свечение понимания? Это утопия. Даже увидев свет, сделаю вид, что не заметила его, и буду ковыряться дальше, это мой крест, моя вечная утеха, а если и расхопую — то жить расхочется, надоеет нравиться и уподобляться. Неинтересно. И мензаты фантазии сдуются, заведет облако без намека на грозу.

Другое дело ты. Сундук без намека на замочную скважину. И эта огромная связка ключей в трясущихся и мокрых от пота руках, она вдохновляет, приближая ключ, который уже наверняка подойдет. Но потухает фонарь. И связка падает на винтовую лестницу, и я плачу, сползаю по стене, как подсолнечное масло, медленно и оставляя след. Но в одно прекрасное утро выйдешь ты, распахнув свою увесистую дверь, и вляпаешься во что-то жирное, неуклюжее. Даже не пытайся, не отстирается. Поплывешь по своим делам, дурачок-дельфин... думаешь, по океану плывешь? В каком же ты океане видел за стеклом детей с широко раскрытыми глазами, вцепившихся в папину ногу? То-то же, аквариумная рыба. Плещешься в стеклянной коробке — в ней давно не меняли воду. Там плавают хладнокровные рыбы, а я не хочу там плавать, чтобы гнить, как они, — с головы. Уж лучше я выберу пенки. Как мое поколение.

Уж лучше я буду одеваться в таможенном конфискации и выскребать остатки губной помады спичкой, чем потом выскребать из засорившегося фильтра останки своей растлевшей души, в этом дрянном аквариуме.

Теперь твои носопырки вдыхают моей власти зловонье, на твоём теле страха пупырки, а я рада, я чертовски довольна. Пририсую тебе рожки и большой трусливый взгляд, шов на зеленой ножке, изуродую наугад. Сосредоточенная складка проляжет у тебя на лбу, понял загадку? Твою душу в бумагу вживлю. Выкину. Смогу.

Кинематограф жизни

Утро. Жаркий понедельник лета всегда какой-то вязкий и невдумчивый, особенно когда надо работать, да еще и после недели отдыха. На нашей точке по-прежнему мертво, пьем кофе, жмуримся от палящего солнца, прорезающего стеклянный потолок, апатия в каждом атоме утреннего, спертного пространства магазина воздуха.

Внезапно чья-то улыбка царапнула по запятой жиром лени и звонко засмеялась. Я подняла глаза и увидела незнакомую девочку. Это новенькая. Она теперь будет работать в соседнем отделе. На лицо лет 16, а жизнерадостности — словно у беззаботного ребенка. Она шлепнула ладонями по столу и

убежала. Я механически оглядела фигурку удаляющейся Насти — непропорционально широкие плечи, красивые быстрые ножки. Она вернулась с широкой улыбкой и плюхнула нам на стол большой фотоальбом. Фотографии обыкновенные — семья и родня на фоне настенных ковров совдеповского интерьера. Она увлеченно рассказывала о брате и отце, которых, судя по всему, очень любила. Особенно ей доставляло удовольствие показывать рисунки брата — технические, отчаянно высеченные твердой рукой, со сложным сюжетом, явно в каком-то жанре.

— Татуировки, — пояснила Настя.
— Он в салоне работает?
— Нет, он на зоне рисовал.
— А сейчас где?
— Умер четыре года назад. Наркотиками увлеклась, — улыбнулась она.

Тетрадка с рисунками старая, истершаяся — было видно, что Настя ее всюду таскает, всем показывает, гордится братом. Она прочла нам вслух его письмо из тюрьмы, то, что он написал в ее день рождения, когда ей исполнилось десять.

Галия, которая сидела со мной в отделе, расплакалась, а Настя... она так искренне, так понимающе улыблась. Потом она как-то по-взрослому, как-то резко отвела глаза и зарыдала сама. Неловко скривив губы, я спросила:

— А ты с папой живешь?
— Нет, его убили. Наркоман зарезал, сразу после Ваниной смерти. Но его посадили на десять лет!
— О, боже...

Я внимательно посмотрела на темноглазую Насти, и кого-то она мне напомнила. После мысли о том, хочет ли она отомстить, ассоциация обрела образ — маленькая Матильда из драмы Бессона «Леон». Я еще раз перелистала альбом с фотографиями и нашла ее сходство с Натали Портман. Наивная и сильная, хрупкий стелактит, обломанный судьбой. Девочка с кожаным ремешком на шее и с зеленым деревцем в руке.

На одной ноге

С удовольствием бы предоставила описать этот эпизод Платонову, но его уже нет в живых. Поэтому придется это сделать мне.

Кряхтящий утренний туман укутал город морозной туберкулезой. Пар из ртов людей почти незаметен, он впелся в один заговор с туманом понедельничного утра, и еще больше ощущалось нетеплокровие сонных пешеходов. Я стояла на трамвайной остановке и не знала, на что обратить внимание. А его нужно было срочно куда-нибудь деть. Потому что так все было тягуче-злохолодно вокруг, так грубо и обыкновенно. Тогда я стал замечать, что все люди стоят на одной ноге. То есть у них две ноги, все нормально — обе на земле, но стоит только одна, а работает другая. Держит тело, как сгорбившийся титан, а вторая, можно сказать, валяется — отдыхает. Но приходит время, и они меняются. Мой взгляд подкрался к следующему объекту. Он был вовсе лежащий. Лежащий человек. Пьяница или бож, непонятно, но он живописно дополнял паршивость утра и вконец испортил мне настроение, так стало противно. Даже пнуть его захотелось. А трамвай все не шел. Безмолвие и холод тяготили все сильнее.

Из арки вдруг послышалось тяжелое детское дыхание, я обернулся — бежала маленькая девочка, в халатике и больших незастегнутых сапогах на голые ноги. Она подбежала к лежащему божу и начала его трясти:

— Папа, папочка!!! Папа!
Она пыталась его поднять, но ее худым ручонкам не хватало сил. Она все больше трясла его, из глаз ее лились слезы, и она неустойчиво кричала: «Папа! Папа!!!»

Наконец, мужчина начал что-то бормотать и даже попытался привстать. Девочка отряхивала его и что-то, надвываясь, лепетала, она изо всех сил тянула его за грязные рукава и наконец подняла на ноги и поволокла за собой, всхлиывая. И все люди, все те люди стояли на остановке и молча смотрели на это. Пар из их ртов стал более видимым.

